

Чарльз Диккенс



Скряга Скрудж

Святочная песня в прозе

Первая строфа

ПРИЗРАК МЭРЛИ

Начнем сначала: Мэрли умер. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическую книгу подписали приходской священник, причетник и гробовщик. Расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было известно на бирже, где бы и под чем бы ему ни благоугодно было подписаться.

Дело в том, что старик Мэрли был вбит в могилу, как осиновый кол.

Позвольте! Не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола: я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба...

Но... разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, и не моей нечестивой руке касаться священного кивота веков — иначе погибнет моя отчизна...

Итак, вы позволите мне повторить с достаточной выразительностью, что Мэрли был вбит в могилу, как осиновый кол...



Спрашивается: знал ли Скрудж, что Мэрли умер? Конечно, знал, да и как же он не знал бы? Он и Мэрли олицетворяли собой торговую фирму.

Бог знает, сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственными другом и единственным провожатым мэрлевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он в день похорон не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии.

Вот это-то слово и наводит меня на первую мысль: Мэрли, без сомнения, умер, и, следовательно, если бы он не умер, в моем рассказе не было бы ничего удивительного.

Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас даже внимания не обратил бы на то, что господин почтенных лет прогуливается некстати, в потемках и на свежем ветерке, по городскому валу, между могил, с единственной целью — окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына.

Что касается собственно Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле: много лет после смерти Мэрли над входом в их общий магазин красовалась вывеска с надписью: «Скрудж и Мэрли». Фирма торгового дома была все та же: «Скрудж и Мэрли». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговыми оборотами, называли этот дом: «Скрудж и Скрудж», а иногда и просто: «Мэрли»; но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то и на другое имя.

О да! Скрудж вполне изучил свой ручной жернов и крепко держал его в кулаке, милейший человек и старый грешник: скупец напоказ, он умел и нажать, и прижать, и поскоблить, но главное — не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремль, — из него даром и искры не выбьешь без огнива; молчалив был, скрытен и отшельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему

лицо, нащипал ему заостренный нос, наморщил щеки, сковал походку и окислил голос. Постоянный иней убелил ему голову, брови и судорожно-лукавый подбородок. Всегда и повсюду он вносил свою собственную температуру — ниже нуля, леденил свою контору в будни и праздники и, даже ради Святков, не возвышал показаний сердечного термометра ни на градус.

Внешний жар и холод не имели на Скруджа ни малейшего влияния: не согривал его летний зной, не зяб он в самую жестокую зиму; а между тем резче его никогда не бывало осеннего ветра; никогда и никому не падали на голову так беспощадно, как он, ни снег, ни дождь; не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни изморози во всем их изобилии. Ничего этого Скрудж не понимал.

Никто и ни разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами: «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за монетой, ни один мальчишка не спросил у него: «Который час?» Никто, ни мужчина, ни женщина, в течение всей жизни Скруджа не спросили у него: «Как пройти туда-то?» Даже собака — поводырь уличного слепца, — и та знала Скруджа: как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота, либо в какой-нибудь закоулок и начнет помахивать хвостом, словно выговаривает: «Бедняжка мой хозяин! Знаешь ли, лучше уж ослепнуть, чем сглазить добрых людей!»

Да только Скруджу не было до этого никакого дела. Напротив, именно этого он и жаждал. Жаждал пройти жизненным путем одиноко, мимо толпы, с вывеской на лбу: «па-ади-берегись!» А затем — «и пряником его не корми!», как говорят лакомки-дети.

Однажды, в лучший день в году, в сочельник, старик Скрудж сидел в своей конторе и был очень занят. Морозило; падал туман. Скруджу было слышно, как проходящие по переулку



дуют себе на руки, отдуваются, хлопают в ладоши и приплясывают, чтобы согреться.

На башне Сити только что пробило три часа пополудни, но на дворе было уж совсем темно. Впрочем, и с утра не светало, и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого, почти твердого на ощупь воздуха. Туман проникал во все щели и замочные скважины, на открытом воздухе он до того уплотнился, что, несмотря на узость переулка, противоположные дома казались настоящими призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе к земле с намерением задымить огромную пивоварню.

Дверь в контору Скруджа была отворена, так что он мог постоянно следить за приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной каморке — некоем подобии коллодца. У Скруджа в камельке огонь тлел еле-еле, а у приказчика еще меньше: просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, ведь корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа, и каждый раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предвещал его попытки, заявляя, что будет вынужден с ним расстаться. Поэтому приказчик обматывал шею белым «носопрятком» и пытался отогреться у свечи. Но при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно, не достигал своей цели.

— С праздником, дядюшка, и да хранит вас Бог! — раздался веселый голос.

Голос принадлежал племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплох.

— Это еще что за пустяки? — спросил Скрудж.

Племянник так торопился к нему и так разогрелся на морозном тумане, что щеки его пылали, лицо покраснелось, как вишня, глаза заискрились и изо рта пар валил столбом.

— Как, дядюшка, даже Святки для вас всего лишь пустяки? — заметил племянник Скруджа. — Так ли вы говорите?

— А что же? — ответил Скрудж. — Веселые Святки. Да какое у тебя право веселиться? Разоряться-то на веселье какое право? Ведь и так уж беден...

— Да полно вам бурчать! — возразил племянник. — Лучше ответьте: какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью? Ведь и так уж богаты.

— Ба! — продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу, и к своему «Ба!» прибавил: — Все это глупости!

— Перестаньте же хандрить, дядюшка.

— Поневоле захандришь с такими сумасшедшими. Веселые Святки! Да уж бог с ним, с вашим весельем! Да и что такое ваши Святки? Самое-то время — платить по векселям, а у вас, пожалуй, и денег-то нет... Да ведь с каждым Святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще двенадцать месяцев без прибыли. Нет уж! Будь моя воля, я каждого такого шального, прибежавшего с нелепыми поздравлениями, приказывал бы сварить в котле — с его же пудингом. А уж заодно бы похоронить, чтобы из могилы не убежал, проткнуть ему грудь сучком остролиста... Вот так!

— Дядюшка! — заговорил было племянник, чтобы оправдать праздничные Святки.

— Что, племянничек? — строго перебил дядюшка. — Празднуй себе Святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему.

— Отпразднуете? — повторил за ним племянник. — Да разве так празднуют?

— Ну и не надо!.. Тебе я желаю на Новый год нового счастья, если старого мало.

— Правда: мне кой-чего не достает... Да нужды нет. Новый год ни разу еще не набил мне кармана, а все-таки Святки для меня Святки.

Приказчик Скруджа невольно заплодировал этой речи из уже описанного колодца, но, поняв всю нелепость своего



поступка, бросился поправлять огонь в камельке и погасил последнюю искру.

— Если вы еще раз погасите пламя, — сказал ему Скрудж, — вам придется праздновать Святки в другом месте. А вам, сэр, — прибавил он, обратившись к племяннику, — я должен отдать полную справедливость: вы превосходный оратор и напрасно не вступаете в парламент.

— Не сердитесь, дядюшка: будет вам! Приходите к нам завтра обедать.

Скрудж ему ответил, чтобы он пошел к... Право, так и сказал, все слово выговорил, — так-таки и сказал: пошел... (Читатель может, если ему заблагорассудится, договорить эту фразу).

— Да почему же? — вскрикнул племянник. — Почему?

— А почему ты женился?

— Потому что влюбился.

— Любовь! — пробормотал Скрудж, да так пробормотал, как будто после слов «новый год» «любовь» было самым глупым словом в мире.

— Послушайте, дядюшка! Ведь вы и прежде никогда ко мне не заходили: при чем же тут моя женитьба?

— Прощай! — сказал Скрудж.

— Я от вас ничего не хочу, ничего не прошу: отчего же нам не остаться друзьями?

— Прощай! — сказал Скрудж.

— Я и в самом деле огорчен вашей решительностью... Между нами, кажется, ничего не было... по крайней мере с моей стороны... хотелось мне провести с вами первый день года. Но что ж делать, ежели вы не хотите. Я все-таки повеселюсь — и вам того же желаю.

— Прощай! — сказал Скрудж.

Племянник вышел из комнаты, ни полусловом не выразив неудовольствия, но остановился на пороге и поздравил с наступающим праздником провожавшего его приказчика —

в этом человеке, несмотря на постоянный холод, было все-таки больше теплоты, чем в Скрудже. Поэтому он радушно ответил на поздравление, так что Скрудж услышал его слова из своей комнаты и прошептал:

— Вот еще дурак-то набитый! Служит у меня приказчиком, получает пятнадцать шиллингов в неделю, на руках жена и дети... а туда же, радуется празднику! Ну, разве не сам напрашивается в дом сумасшедших?

В это время набитый дурак, проводив племянника Скруджа, ввел за собой в контору двух новых посетителей: оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, с благовидной наружностью, и оба при входе сняли шляпы. В руках у них были какие-то реестры и бумаги.

— Скрудж и Мэрли, кажется? — спросил один из них с поклоном и поглядел в список. — С кем имею удовольствие беседовать: с мистером Скруджем или с мистером Мэрли?

— Мистер Мэрли умер семь лет назад, — ответил Скрудж. — Ровно семь лет тому умер, именно в эту самую ночь.

— Мы не сомневаемся, что великодушие покойного нашло себе достойного представителя в пережившем его компаньоне! — сказал незнакомец, предъявляя официальную бумагу, уполномочивавшую его на соби́рание милостыни для бедных.

Сомневаться в подлинности этой бумаги было невозможно; однако же при досадном слове «великодушие» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и вернул посетителю свидетельство.

— В эту радостную пору года, мистер Скрудж, — заговорил посетитель, взяв перо, — было бы желательно собрать посильное пособие бедным и неимущим, страдающим теперь более, чем когда-нибудь: тысячи из них лишены самого необходимого в жизни, сотни тысяч не смеют и мечтать о наискромнейших удобствах.



— Разве тюрьмы уже уничтожены? — спросил Скрудж.

— Помилуйте, — ответил незнакомец, опуская перо. — Да их теперь гораздо больше, чем было прежде...

— Так, стало быть, — продолжал Скрудж, — приюты прекратили свою деятельность?

— Извините, сэр, — возразил собеседник. — Дай-то Бог, чтобы они ее прекратили!

— Так человеколюбивый жернов все еще мелет на основании закона?

— Да! И ему, и закону еще много работы.

— О! А я ведь было подумал, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало существованию этих полезных учреждений... Искренне, искренне рад, что ошибся! — проговорил Скрудж.

— В полном убеждении, что ни тюрьмы, ни приюты не могут христиански удовлетворить физических и духовных потребностей толпы, несколько особ собрали по подписке небольшую сумму для покупки бедным, в честь предстоящих праздников, куска мяса, кружки пива и пригоршни угля... На сколько вам угодно будет подписаться?

— Да... ни на сколько! — ответил Скрудж.

— Вам, вероятно, угодно сохранить анонимность.

— Мне угодно, чтобы меня оставили в покое. Если вы, господа, сами спрашиваете, чего мне угодно, я дам вам ответ. Мне и самому праздник не радость, и я не намерен поощрять бражничанье каждого тунеядца. И без того я плачу достаточно на поддержание благотворительных заведений... то бишь тюрем и приютов... пусть в них и отправляются те, кому плохо в ином месте.

— Да ведь некоторым и появляться там нельзя, а другим легче умереть.

— А если легче, кто же им мешает так и поступать, ради уменьшения нищенствующего народонаселения? Впрочем, извините — все это для меня китайская грамота.